

Российская академия наук
Институт русского языка

На правах рукописи

Ливов Виктор Маркович

**ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ЯЗЫКОВАЯ ПРАКТИКА В ИСТОРИИ
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА**

10.02.01 - русский язык

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
доктора филологических наук

Москва - 1992

Работа выполнена в Институте русского языка РАН

ЛНБ України ім. В. Стефаника



00825553 (S)

Официальные оппоненты:

академик, доктор филологических наук А.М. Панченко
академик, доктор филологических наук Н.И. Толстой
академик, доктор филологических наук Д.Н. Шмелев

Ведущее научное учреждение - Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, кафедра русского языка

Защита диссертации состоится "10" 12 1992 г. 14⁰⁰
на заседании специализированного совета (Д 002.19.01)
при Институте русского языка РАН (Москва, Волхонка 18/2)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке
Института русского языка РАН

Автореферат разослан "3" 11 1992 г.

Ученый секретарь специализированного
совета

В.Н. Белоусов

С Институт русского языка РАН, 1992

В диссертации рассматриваются основные проблемы истории русского литературного языка в XVIII в. Исследование обращается к двум аспектам этой истории: развитию теоретических воззрений на язык, его правильность и "чистоту", его культурологическую значимость и развитию языковой практики (прежде всего на наиболее показательном уровне - морфологическом), ее соотношению с практикой предшествующей эпохи и тем изменениям, которые происходят в ней под влиянием сменяющихся языковых установок. Это соотнесение теоретических воззрений и их практической реализации позволяет дать адекватную интерпретацию высказываниям о языке и грамматическим предписаниям, определявшим, начиная с Петровской эпохи, характер нормализации русского литературного языка нового типа. Нормативная обработка выступает как существеннейший момент его развития, и именно ей уделено преимущественное внимание. Соотнесение с теоретическими высказываниями обуславливает и выбор исследуемых текстов: анализируются памятники, которые непосредственно реализовали те или иные принципы построения литературного языка (использованы многочисленные архивные материалы, а также издания гражданской и церковной печати, ранее в лингвистическом плане не изучавшиеся). Вместе с тем обращение к языковой практике дает возможность увидеть, в каких языковых параметрах воплощались новые лингвистические установки и как при этом сохранялась преемственность языковых традиций. Этот стереоскопический характер исследования позволяет по-новому реконструировать лингвистические установки авторов, трудившихся над обработкой нового литературного языка, и избежать ряда противоречий и непоследовательностей предшествующих изложений истории литературного языка XVIII в. Диссертация состоит из введения и шести глав (три последние главы даются в приложении).

1. В Введении излагаются те основные понятия и концепции истории русского литературного языка, исходя из которых реконструируются механизмы развития литературного языка XVIII в. Прежде всего выясняется специфика самого предмета истории литературного языка. В силу принципиальных функциональных отличий литературного языка от языка повседневного общения различны и факторы, обуславливающие их развитие. Причины изменения в языке повседневного общения носят прежде всего внутрисистемный характер, тогда как изменения литературного языка непосредственно связаны с изменениями представлений его носителей о языковой правильности. Только

АНС им. В. Стефанько
АН УРСР

выявив, в чем состоит смена лингвистических представлений, исследователь получает возможность обнаружить и описать все конкретные изменения языковой нормы как организованную совокупность. Без такого анализа лишается оснований самый отбор значимого эмпирического материала. Лишь научившись смотреть на язык глазами его носителей, можно прийти к адекватному чтению текста, выделив релевантные характеристики, указывающие на изменение нормы. Вместе с тем сама по себе история воззрений на язык не составляет истории литературного языка. Изучению подлежит не только лингвистическая идеология, но и тот языковой материал, который связывается с отдельными рубриками лингвистической программы, при этом без анализа этого материала нельзя понять значимость самих рубрик. Между изучением языковых программ и языковой практики имеет место существенная взаимозависимость; и то и другое относится к предмету истории литературного языка, так что самый этот предмет обладает двойственным характером. С этой двойственностью связано и решение проблемы новизны и преемственности в литературном языке. Преемственность обнаруживает себя прежде всего в исторически сложившихся свойствах языкового материала, а новизна — в переосмыслении этого материала, в формировании тех новых понятий, которые это переосмысление обуславливают. Очевидно, что при таком понимании преемственность и новизна в принципе не противоречат друг другу.

Данный подход требует не генетического, а функционального определения языковых элементов, и именно в этом плане предлагается в диссертации решать важнейшую для истории русского литературного языка проблему русизмов и славянизмов. Функциональный статус различных элементов, генетически противопоставленных как инославянские — восточнославянские, мог быть различным. В одних случаях имела место адаптация, т.е. усвоение восточнославянского элемента нормой русского извода церковнославянского с одновременным вытеснением его инославянского коррелята (например, ж вместо жд на месте *dj). В других случаях результатом было становление признака книжности, инославянский элемент сохранялся нормой русского извода и переосмыслился как специфический признак книжного характера текста (например, формы имперфекта). В третьих случаях, наконец, оппозиция инославянского и восточнославянского оказывалась источником вариативности: оппозиция нейтрализовалась, и оба элемента, образовавшие ее, становились в книжном языке допустимыми вариантами (например, полногласные и неполногласные лексемы). Очевидно, что для языкового сознания значимым являлся

именно функциональный статус; он определял и восприятие языковых элементов, и их употребление, и, соответственно, их эволюцию.

В русских условиях книжный язык усваивался с помощью ресурсов живого языка (а не с помощью грамматик и переводов). Характер усвоения книжного языка определял и механизмы создания оригинальных текстов на этом языке. Принципиальное значение имели, видимо, два механизма: механизм ориентации на образцовые тексты (прежде всего тексты Св.Писания, которые пишущий знал наизусть и мог воспроизводить, не только цитируя фразы, но и повторяя отдельные формы) и механизм пересчета (тот механизм, который возникал при овладении книжными текстами, когда понимание обеспечивалось сопоставлением специфически книжных элементов с элементами живого языка; при создании оригинальных текстов использовалось это же сопоставление). Когда целью оказывается не максимальное сближение языка новых сочинений с языком корпуса основных текстов, а их условное тождество по ряду формальных показателей, набор этих показателей (признаков книжности) может быть сведен к минимуму: в него входят те характеристики, которые с наибольшей наглядностью отличают книжный язык от некнижного. При этом они могут употребляться непосредственно и даже окказионально - индикатором служат само их наличие. При отсутствии непосредственной ориентации на тексты основного корпуса развивается вариативность и в создаваемые тексты свободно проникают некнижные элементы. Таким образом, в данной разновидности книжного языка книжные и некнижные элементы синтезированы в единой системе, так что самый вопрос о его языковой основе - традиционно книжной или народно-разговорной - лишен содержания. В этой связи представляется целесообразным именовать книжный язык данного типа гибридным. Состав признаков книжности, обуславливающий характер гибридного языка, определяется отличиями (со временем нарастающими) стандартного книжного языка от некнижного. В русской традиции в него входят простые претериты, действительные причастия и вообще согласованные причастия в деепричастной функции, формы дв. числа (после их утраты в живом языке), оборот дательного самостоятельного и т.д. Гибридный язык формирует традиционное языковое сознание и в силу этого имеет решающее значение для создания в Петровскую эпоху литературного языка нового типа, противопоставленного традиционному книжному языку.

В предысторию создания нового литературного языка входит также функциональная дифференциация разновидностей церковнославянского и переосмысление этих разновидностей в терминах грамматического

искусства, простоты, понятности и т.д. Осмысление в этих категориях различных языковых элементов во многом предопределяет характер их последующего употребления. Два процесса заслуживают особого внимания. Первый из них - формирование в России с начала XVI в. грамматического подхода к книжному языку, противопоставленного более раннему текстологическому подходу. В результате так наз. "второго южнославянского влияния" развивается тенденция к противопоставлению книжного языка не книжному. Это приводит к переоценке старых механизмов создания книжных текстов как недостаточных и приводящих к "порче" языка; отсюда возникает необходимость в автономной грамматической регламентации. Появляются грамматические трактаты, ряд текстов подвергается "окнижняющей" переработке, развивается книжная справа. В результате наряду с традиционной разновидностью книжного языка возникает грамматически нормированная разновидность. Это открывает возможность как для искусственного усложнения, так и для искусственного упрощения книжного языка (ср. опыты упрощения в грамматиках Ф.Максимова и Ф.Поликарпова). Вообще же искусственная нормализация сообщает принципиальную возможность создания новой языковой нормы, моделирования книжного языка, приспособленного к тем или иным культурно-языковым установкам. В конце концов и создание литературного языка нового типа, противопоставленного традиционному, представляет собой реализацию этих принципиальных возможностей.

Данный процесс совпадает по времени и входит во взаимодействие с формированием концепции "простоты" (или доступности) книжного языка. Эта концепция была общеевропейской и распространялась в связи с религиозной борьбой, которая делала актуальным религиозное образование широкой аудитории и требовала общедоступных религиозных текстов. В области Slavica Orthodoxa данный процесс обладал специфическими чертами, причем особая специфика была характерна для Московской Руси, в которой относительно высокий уровень церковнославянской образованности и устойчивость православной традиции делали излишним перевод на "простой" язык Св.Писания и проповеди. Тем не менее концепция "простоты" языка вносила в православную традицию внутреннее противоречие. Эта концепция требовала понятности и общедоступности религиозных текстов, и данное требование достаточно легко могло быть выполнено в отношении новосоздаваемых текстов. Однако переход на этот язык во всех сферах культурной деятельности означал бы отказ от веками складывавшегося корпуса церковнославянских текстов, составлявших

ядро православной культуры. Это противоречие побуждало к поискам компромисса между традиционностью и понятностью литературного языка. Этот компромисс во всех областях Slavica Orthodoxa существенно отражался на функционировании "простых" текстов, ограничивая полифункциональность новых средств выражения, и накладывал определенный отпечаток на структуру "простого" языка. В Московской Руси в XVII в. создание "простых" текстов реализовалось в использовании не литературного языка, ориентированного на разговорный, а в употреблении традиционного грамматически не изощренного книжного языка, или в редких случаях языка гибридного (Авраамий Фирсов, протопоп Аввакум). Стремление не порывать с вековой культурно-языковой традицией накладывало ограничения на развитие литературных языков нового типа. Для того чтобы это положение изменилось, нужен был стимул культурологического характера: решимость создать новую культуру секулярного типа, радикально порывающую с прошлым и отводящую традиционной литературе сугубо подчиненное место в новом общественно-культурном развитии.

Этими моментами и определяется сложная предыстория русского литературного языка нового типа. Вся совокупность рассмотренных параметров указывает на то, что основание, на котором развивается русский литературный язык нового типа, представляет собой почву, обработанную многовековым культурным развитием. Это развитие определяет и содержание тех категорий, которыми оперирует в XVIII в. русская лингвистическая мысль, и сложный характер языкового материала, входящего в состав новой языковой нормы. Из этой предыстории, краткий очерк которой дается во Введении, вырастают и задачи предпринятого исследования.

2. Русский литературный язык нового типа формируется в контексте культурных реформ Петровской эпохи. Языковым процессам этого времени посвящена первая глава диссертации. Петр создает новую секулярную культуру, противостоящую традиционной. Языком этой культуры и должен стать новый "простой" язык. Замысел царя в его определяющих моментах реализуется уже в азбучной реформе 1708-1710 гг. Новым гражданским шрифтом царь распорядился "печатать исторические и мануфактурные книги". Предполагалось, что светские книги пишутся на русском языке и печатаются гражданским шрифтом, духовные книги сохраняют церковнославянский язык и церковный шрифт. Как показывает обращение к архивным материалам, азбучная реформа реализовала ряд идей, свойственных языковой

политике Петра в целом: противопоставление секулярной и духовной культуры, отказ от греческого компонента традиционной книжности (как от черты ученого клерикализма), ориентация на латинскую (западноевропейскую) модель.

Анализ собственно языковых инноваций представляет известные сложности. Хотя известны многочисленные высказывания Петра (или его сподвижников) о языке, языковая практика Петровской эпохи как целое не создает впечатления последовательной реализации какой-либо программы. Отсюда нередко делается вывод, что культурная и языковая политика Петра при всем своем радикализме прямого выражения в языковой практике не нашла; если она и принесла какие-то результаты, то охарактеризованы они могут быть лишь как хаотическое смешение разнородных черт, не поддающихся систематизации. Этот вывод обусловлен генетическим, а не функциональным подходом к характеристике языковых элементов (оказывается, что отрицание церковнославянской традиции никак не меняет употребления так наз. "славянизмов") и нерепрезентативным отбором изучаемых текстов. Между тем ясно, что новая языковая практика, отражающая реформаторские установки, определенное время сосуществует с традиционной, и значимые выводы могут делаться лишь на основе текстов, эксплицитно связанных с заявлениями реформаторов. Анализ этих заявлений свидетельствует, что Петр требовал употребления "простого" русского языка или "общенародного российского диалекта" (наименования могут быть различны) взамен традиционного книжного ("славянского") языка, не нужного, на его взгляд, в книгах "гражданского" содержания. Особенно показательна в этом плане история перевода "Географии генеральной" Б.Варения, представлявшая собой, в сущности, столкновение двух антагонистических лингвистических установок. Поликарпов переводит "Географию генеральную" на церковнославянский и, заранее полемизируя с Петром, обосновывает выбор языка тем, что "общенародный российский диалект" не в состоянии передать "высоту и красоту" латинского оригинала. Петр отвергает подобные воззрения, говоря о плохом качестве перевода и "неискусстве" переводчика, и требует, чтобы перевод был сделан "простым русским языком". Тем самым он приписывает этому языку необходимое достоинство и усваивает ему роль языка новой культуры. Новая редакция перевода следует этим предписаниям.

Результаты петровской языковой политики и должны оцениваться по текстам, написанным или исправленным в соответствии с подобными требованиями. Правленные тексты данного периода дают

наиболее значимый в это плане материал. К таким текстам относится прежде всего "География генеральная". Характер правки (произведенной Софронием Лихудом - ЦГАДА, ф.381, № 1006) с несомненностью обнаруживает, что речь идет не о стилистическом редактировании, а об изменении самого языка: церковнославянский язык заменяется нецерковнославянским. Исправления распространяются лишь на ограниченный набор признаков, в основном морфологического и синтаксического характера. К морфологической правке относится замена форм аориста и имперфекта формами не книжного прошедшего времени (А-формами без связки), замена атематического спряжения аналогичными образованиями, форм инфинитива на -ти формами на -ть, форм 2 л. ед. ч. на -ши формами на -шь, форм дв. числа на формы мн. числа и т.д. К синтаксической правке относится замена согласованных причастных форм в деепричастной функции на несогласованные, устранение дательного самостоятельного, замена оборотов да оу презенс на императив или придаточное с союзом дабы, конструкций с существительным в родительном падеже на конструкции с притяжательным (или относительным) прилагательным и т.д. Таким образом, изменение языка состоит в устранении признаков книжности (в том их составе, который сложился в конце XVII - начале XVIII в.), т.е. тех элементов, которые в предшествующей традиции указывали на литературный (книжный) характер текста.

Такая правка является закономерной реализацией новых языковых установок, воспринятых языковым сознанием данного периода. Об этом свидетельствует почти тождественная по составу признаков правка, встречающаяся в других рукописях ("История Петра Великого" Феофана Прокоповича с правкой самого Феофана - ЦГАДА, ф.9, оп.1, № 1; перевод "Библиотеки" Аполлодора, сделанный А.К.Барсовым - ЦГАДА, ф.381, № 1015). Очевидно, что представление о "простом" языке как о трансформации традиционного книжного языка (книжный язык без признаков книжности) было общим для широкого круга авторов. Конечный результат этой трансформации совпадает по своим лингвистическим характеристикам с текстами, непосредственно манифестировавшими культурную политику Петра и изначально написанными на "простом" языке (такими, как "Юности честное зерцало"). Внедрение данной трансформации в качестве языка новой культуры может рассматриваться как адекватная реализация языковой политики Петра, раскрывающая подлинное значение использованных им понятий. За тождеством языковых представлений у разных авторов должна была стоять и общая литературно-языковая традиция -

традиция таких текстов, книжный характер которых реализовался именно в данном наборе специфически книжных языковых черт. Эту традицию естественно видеть в гибридном языке; в этом случае формирование русского литературного языка нового типа и должно связываться с трансформацией данной литературно-языковой традиции.

"Простой" язык Петровской эпохи наследует от гибридного церковнославянского и присущую ему вариативность, прежде всего в сфере морфологических показателей. Именно характер вариативности позволяет говорить о преемственности литературного языка нового типа по отношению к гибриднему. Это заключение опирается не на генетические, а на функциональные параметры, на наблюдения над наборами и соотношением вариантов. Значимо не то, что может быть определено как генетический русизм или славянизм, а то, какие русизмы и славянизмы (и в каком соотношении) попадали в новый литературный язык из старого. И принципиально важным становится характер перехода от одного языка к другому. Переход этот также определяется в функциональных терминах – как устранение признаков книжности, актуальных для языкового сознания Петровской эпохи и в своем функциональном качестве обнаруживающихся прежде всего в гибридном языке. Такой подход позволяет отказаться от распространенного в литературе и никак не обоснованного утверждения о зависимости русского литературного языка нового типа от приказного языка Московской Руси. Об отсутствии преемственности свидетельствует, например, тот факт, что в "простом" языке практически не представлено широко распространенное в приказном языке окончание род.ед. ж.рода *-ье/-ие*, тогда как характерная для гибридного языка вариация флексий *-ья/-ия* и *-ой/-ей* обычна; в условиях преемственности такое расхождение вряд ли возможно.

Новый литературный язык, противопоставленный церковнославянскому, должен был стать средством выражения секулярной культуры, порвавшей с традиционными культурными ценностями; к таким традиционным ценностям относился и церковнославянский язык. Формирование литературного языка нового типа осуществляется как отказ от употребления признаков книжности. Признаки книжности как основной показатель языковой нормы характерны прежде всего для гибридного языка. Новый литературный язык и выступает как его трансформация. Эта трансформация предполагает как отталкивание от традиционного книжного языка, так и преемственность в отношении к нему: "простой" язык Петровской эпохи наследует ту вариативность, которая была свойственна языку гибриднему. Появление нового

литературного языка радикально изменяет языковую ситуацию и создает новое содержание самого понятия литературности: литературность определяется культурной функцией, а не признаками книжности. В результате утверждение "простого" языка Петровской эпохи в качестве литературного приводит к экспансии его употребления за счет прежних языковых традиций. Новый литературный язык вытесняет из употребления приказной язык и вступает в конкуренцию с традиционным книжным языком (церковнославянским). Эта конкуренция непосредственно связана с борьбой культур и идеологий, развернувшейся в первые десятилетия XVIII в.

Культурный контекст позволяет объяснить, почему новый литературный язык, объявленный понятным и общедоступным в противовес традиционному книжному языку, не был непосредственно ориентирован на разговорную речь какого-либо социума или региона (как, например, при реформе Вука Караджича), а сохранял преемственность с языком традиционным. В условиях культурного конфликта церковнославянский и русский антагонистически противопоставлены, происходит переоценка церковнославянского языка: если новый литературный язык определяется как гражданский, то старый с неизбежностью принимает атрибут церковного (клерикального). В этом качестве он противопоставлен русскому литературному языку как языку новой светской образованности. Языковое поведение непосредственно связывается, таким образом, с культурно-политическими программами, и эта связь определяет как новый статус традиционного книжного языка, так и характер формирования русского литературного языка нового типа. Секуляризация выступает как движущий момент языковой динамики, и этим создается радикальное отличие языковой ситуации в "европеизирующейся" России от языковой ситуации в Западной Европе.

Поскольку в рамках данной концепции церковнославянский связывается со старой культурой, на него переносятся характеристики, которые реформаторы приписывали всей этой культуре в целом: он оказывается языком непросвещенным, языком ложного знания. Такая оценка церковнославянского дается в ряде высказываний Прокоповича, причем особенно негативно оценивает Прокопович "эллинизмы" и ложную ученость. Он намеренно смешивает гречофильство и грамматический подход к книжному языку (как черты ложной учености) и противопоставляет им "понятность" языка. Попав в этот полемический контекст, "понятность" приобретает символический характер и может сводиться к устранению тех элементов, которые

воплощают в себе "непонятность" церковнославянского. Их устранение не разрушает преемственности, хотя, естественно, и не решает проблемы доступности нового литературного языка.

Поскольку особая связь нового литературного языка с новой культурой обуславливала его символическую значимость, новый язык выступал не только как средство выражения новой культуры, но и как ее символическое воплощение. Данная семиотическая функция нового литературного языка могла вступать в противоречие с тем требованием понятности и доступности, которое выдвигалось в качестве основной причины его создания. Это противоречие особенно ярко проявилось в широком употреблении в текстах на новом "гражданском наречии" неосвоенных или малоосвоенных заимствований. Употребление заимствований стимулировалось не столько прагматическими причинами, сколько культурной установкой. В текстах петровского времени об этом говорят многочисленные глоссы (типа *экземпль или прилбры*): они указывают на явную информационную избыточность заимствований. Заимствования были элементом мифологического переименования реальности и приводили к устойчивому непониманию со стороны традиционной аудитории. Понятность и доступность нового языка, провозглашаемые реформаторами, оказывались лозунгами, отражающими стандартные лингвистические установки европейской культуры и получающими в русских условиях скорее полемическое, нежели реальное значение. Новый литературный язык был прежде всего выражением новой культуры. С этой культурой он разделял и ее европеизирующие установки, и ее полемическую направленность в отношении к отечественной традиции.

3. Новый этап в истории русского литературного языка начинается в 1730-е годы. Он связан с сознательной и последовательной нормализацией и выработкой соответствующих критериев. Этому этапу посвящена вторая глава диссертации. Новый литературный язык получает в наследие от гибридного широкую вариативность (на всех уровнях языка), и это входит в противоречие с актуальными для данного периода представлениями об обработанности языка. В связи с этим возникает задача нормализации вариантов. Она может решаться либо за счет стилистической дифференциации вариантов, либо за счет исключения одного из них, либо, наконец, за счет установления их дополнительной дистрибуции. Эти решения требуют обоснования, т.е. лингвостилистической теории. Нормализаторская работа, проводившаяся в основном в академической типографии и академической гимназии,

начинается уже в конце 1720-х годов и может быть прослежена, в частности, по изменению языковых характеристик "Примечаний к ведомостям", издававшихся Академией с 1728 г. Ряд моментов этой нормализации может рассматриваться как продолжение тех опытов, которые производились в московской типографии в Петровскую эпоху (Ф.Поликарповым, С.Лихудом и др.). Эти прецеденты, однако, не отменяют существенной новизны в трудах академических филологов, новизны, связанной прежде всего с выработкой лингвистилистической концепции, которая в предшествующий период отсутствовала.

Лингвистическая программа, служившая основой для выработки новых критериев, не выводилась из принципов петровской языковой реформы. Сознательная постановка задачи нормализации литературного языка обозначила новый период в его истории и дала его развитию новый импульс. Этот импульс создавался новым культурным самосознанием, лежавшим у истоков петербургской культуры. Русский литературный язык должен был ни в чем не уступать литературным языкам Европы, получить ту же обработку, что и эти литературные языки (прежде всего французский). Новая языковая программа была намечена уже в первых трудах В.К.Тредиаковского и В.Е.Адодурова. Петровские языковые установки были приняты первыми кодификаторами, но их языковая программа шла дальше и содержала качественно новые моменты. Во-первых, оппозиция церковнославянского и русского языков оценивается в эстетических категориях, и эта эстетическая оценка выдвигается как главная причина, побуждающая к переходу на русский язык. Во-вторых, новый литературный язык ориентирован на разговорное употребление, на тот язык, "каковым мы меж собой говорим". Оба эти положения сыграли важную роль в развитии литературного языка. Эстетическая установка требует не простого отталкивания от прежней книжной традиции (как было раньше), а обработки нового литературного языка, возникшего в результате этого отталкивания; разговорное же употребление выступает как тот критерий, которым следует руководствоваться при этой обработке.

Лингвистилистическая концепция первых кодификаторов является репликой господствовавшего в этот период в Европе вожелизма. Подход к европейским лингвистическим теориям был синтезирующим. Такие вопросы, как роль филологов ("всех разумных") в установлении "добраго употребления", допустимость заимствований и неологизмов, возможные особенности поэтического языка решались русскими авторами применительно к русской языковой ситуации и литературным традициям. При этом использовались аргументы и формулировки разных

западных авторитетов, их полемический контекст принципиально игнорировался. Усвоенная от французов концепция чистоты языка содержала отмеченные выше моменты эстетической оценки и ориентации на разговорное употребление и задавала общее направление грамматической нормализации нового литературного языка. Ориентиром должно было служить разговорное употребление, и это могло приводить к переосмыслению отдельных грамматических элементов, которые раньше воспринимались как нейтральные в отношении к оппозиции книжного и некнижного языков.

Стимулом к такому переосмыслению могли служить первые опыты нормализации других языковых уровней. Лингвистическая доктрина классицизма (т.е. вожелизм) акцентировала проблему лексического отбора. Именно усвоение классицистической доктрины языковой чистоты было в русских условиях исходным стимулом для нормализаторской обработки лексики и фразеологии. В сфере лексики классицистическая доктрина ориентировала литературный язык на идеализированную речь двора. Недопустимыми были заимствования, неологизмы, архаизмы, диалектизмы, элементы ученой и канцелярской речи, слова низкие и грубые. Классицистическая доктрина давала, таким образом, готовую систему рубрик, по которым должна была распределяться "чистая" и "нечистая" лексика. Ее рецепция отразилась, в частности, в ограничении употребления заимствований. Однако языковая ситуация в России начала XVIII в. радикально отличалась от языковой ситуации во Франции середины XVII в.: в России не было ни сложившегося речевого употребления двора, ни общепринятой литературной традиции, и это обуславливало радикальное переосмысление самих категорий французской теории. Для грамматической нормализации важно было новое понимание соотношения языка традиционной книжности и нового литературного языка, возникшее в результате данного переосмысления.

Устанавливалась аналогия между русской и романской языковой ситуацией. Тредиаковский в 1737 г. писал, что "Российский язык не есть Славенской: ибо как Италиянец не разумеет, когда говорят по Латински, так мало и... Россиянин, когда по Славенски". В рамках такого подхода оппозиция русского и церковнославянского полностью уподобляется оппозиции латыни и французского. По аналогии оформляется и представление о церковнославянских элементах в новом литературном языке. Элементы языка традиционной книжности соответствуют латинизмам во французском литературном языке. Тем самым они определяются как "нечистые" элементы и в результате

получают отрицательную стилистическую значимость. Именно в рамках пуристической концепции славянизмы приобретают статус особой стилистической категории, т.е. генетическая характеристика языкового элемента начинает рассматриваться как фактор, определяющий его стилистические параметры. При этом стилистическая оценка славянизмов не только воспроизводит негативные коннотации, которые связываются с латинизмами во французском, но и вбирает в себя ту отрицательную квалификацию, которую получал в рамках петровской языковой политики церковнославянский язык.

В этом контексте и ставилась задача определить, что является славянизмом. Такие попытки предпринимались, однако словари В.Н.Татищева красноречиво свидетельствуют, что результатом был (на лексическом уровне) лишь конгломерат разнородно устроенных пар, не решавших никаких задач литературной стилистики. Новая теоретическая установка вступает в конфликт со старым языковым сознанием и внутренними свойствами обрабатываемого языкового материала. Новая установка требует изгнания славянизмов, но что такое славянизм, остается непонятным. Аналогична ситуация и в области форм. Приложить генетические параметры в морфологии пытается Адогуров, стремясь выделить славянизмы и устранить их как "нечистый" элемент. В кратком грамматическом очерке 1731 г. он формулирует принцип, согласно которому все славянские формы (речь, правда, идет только о склонении) должны быть изгнаны из нового литературного языка и заменены "естественными" ("природными"). Анализ адогуровских помет позволяет заключить, что характеристика грамматических элементов как славянских дается им весьма непоследовательно и поставленной задачи не решает. В качестве славянизмов отвергаются лишь те элементы, которые либо и без того не входили в норму нового литературного языка (сравнительная степень, дв. число и вокатив, т.е. старые признаки книжности), либо находились на периферии этой нормы, функционируя в ней как дополнительные варианты книжного характера. Позднее, в 1740-х годах, применение генетических параметров к морфологическим элементам проводится более последовательно, однако задача изгнания "славянизмов" продолжает оставаться нерешенной.

В лексике эти трудности возникают прежде всего в силу того, что и языковая практика, и языковое сознание, складывавшиеся веками, строились на объединении словарного материала книжной традиции и разговорного языка и функциональном переосмыслении вариантов, при котором происхождение слова было лишь третестепен-

ным фактором. В морфологии основным источником трудностей было противоречие между генетическими характеристиками и грамматической традицией, благодаря которой употребление ряда морфологических элементов ассоциировалось не с противопоставлением языков, а с грамотностью как таковой. Важным следствием попыток выделить разряд генетических славянизмов как стилистически значимую категорию было постепенное осознание специфики русской языковой ситуации. Неадекватность генетических параметров показывала, что самый характер русского языкового материала отличал русский от других европейских языков. Это создавало почву для новых теоретических изысканий. Такие изыскания, правда, начались отнюдь не сразу. Им предшествовали попытки найти компромиссное решение на тех путях, которые европейская теория так или иначе предусматривала.

Наиболее важной в этом плане была концепция поэтического языка, особенно существенная в силу того, что классицистическая теория в качестве нормоустанавливающих в языковом плане текстов рассматривала поэзию высоких жанров. Списки допустимых поэтических вольностей у Тредиаковского и Кантемира, равно как и анализ их языковой практики показывают, что данная рубрика была для них способом легализации славянизмов. Концепция поэтического языка позволяла тем самым легализовать и естественные связи новой литературы с предшествующей церковнославянской литературной традицией, которая декларативно отрицалась, но не могла не оказывать существенного влияния на конституцию нового литературного языка (прежде всего в лексике и фразеологии). Особенно важным был этот фактор для основных жанров новой литературы (в первую очередь оды), которая сохраняла преемственную связь с церковнославянским панегириком, а отсюда и с фразеологией и поэтикой славянской Псалтыри. Эта связь имеет для литературного языка решающее значение: языковые и стилистические особенности оды, распространяясь на другие высокие жанры, становятся принципиальной характеристикой литературной нормы. Поэтому преемственность оды по отношению к церковнославянской литературной традиции на практике означала широкое допущение традиционно книжных языковых элементов ("славянизмов") в норму нового литературного языка. Лингвистическая теория, предписывая ориентацию на разговорное употребление, оказывалась в явном противоречии с языковой практикой, и со второй половины 1740-х годов филологическая мысль ищет новой теории, которая могла бы разрешить это противоречие.

4. Поиски новой теории были обусловлены и изменением культурной ситуации. Если для петровского времени была актуальной борьба с церковной традицией, то в царствование Елизаветы развивается стремление к синтезу светской и духовной культуры. Эта тенденция приводит к осознанию ненормальности (с точки зрения европейских стандартов) такого положения, когда национальный литературный язык не является полифункциональным, т.е. когда "гражданское наречие" противостоит духовному языку. В этот период появляется понятие о "природном" полифункциональном литературном языке. Приложение этого понятия к русскому, при том что в духовной литературе продолжал употребляться церковнославянский, предполагало, что русский и церковнославянский как единые "по природе" объединяются в качестве компонентов единого литературного языка.

Это объединение осуществляется на основе понятия "коренных" свойств языка. Вопрос о коренных свойствах языка, о его константных качествах, остающихся неизменными при всех инновациях, вносимых употреблением и определяющих дух языка (*génie de la langue*) оживленно обсуждается в данный период не только в России, но и во Франции и Германии. Рассуждения русских авторов должны интерпретироваться именно на этом фоне. Указывая, что славенский является корнем российского и что "российский почти от славенского не отстает", русские авторы (Тредиаковский и Ломоносов) дают тем самым понять, что коренные качества этих языков тождественны, что при частных различиях формы они обладают единой природой.

Таким образом, единство природы состоит в тождестве основных структурных характеристик. Различия же между русским и церковнославянским сводятся к ограниченному набору грамматических и лексических признаков. Самый набор упоминаемых Тредиаковским и Ломоносовым характеристик весьма показателен. В него входят основные грамматические признаки, по которым русский и церковнославянский противопоставлялись в языковом сознании предшествующего периода. Они прямо оговариваются, но объявляются поверхностными различиями, не препятствующими пониманию церковнославянского носителями русского языка и поэтому не уничтожающими единства этих языков. После неудачных попыток противопоставить русский и церковнославянский по модели французского и латыни лингвистическая мысль к концу 1740-х годов возвращается к старым представлениям о различиях между этими двумя языками, лишь несколько модифицированным в ходе формирования русского литературного языка нового типа.

Изменение представлений о соотношении русского и

церковнославянского непосредственно отражается на конституции литературного языка. Литературный "славенороссийский" язык выступает как объединение церковнославянского ("славянского") и русского языков. Это объединение характеризует как грамматическую структуру, так и словарный состав. Примером реализации подобного синтеза может служить "Тилемахида" Тредиаковского. Сходный синтез осуществляется и в "Российской грамматике" Ломоносова. Показательно, что в "Примечаниях на предложение о множественном окончании прилагательных имен" 1746 г. Ломоносов утверждает, что "Славянской язык от Великороссийскаго ничем столько не разнится, как окончаниями речений. Например, пославенски единственные прилагательные мужские именительные падежи кончатся на *ыи* и *йи*, *богатый, старшйй, синйй*; а повеликороссийски кончатся на *ои* и *ей*, *богатои, старшей, синей*". В "Российской грамматике" (1755 г.) в соответствии с ломоносовскими представлениями 1750-х годов эти окончания даются как сосуществующие варианты. Славянские и русские формы равно включаются в состав литературного языка, причем на практике Ломоносов предпочитает формы первого рода.

Славенороссийский синтез приводит к переинтерпретации пуристических рубрик. Поскольку славянизмы были признаны "чистой" лексикой, они больше не входили в разряд ученых слов, что на практике устраняло саму эту рубрику. Новую интерпретацию получает рубрика архаизмов. Ранее церковнославянская литературная традиция сознательно игнорировалась, и поэтому употребительность или неупотребительность слова в рамках данной традиции к новому литературному языку никакого отношения не имела. Теперь, когда церковнославянская литературная традиция оказывается значимой, рубрика архаизмов становится содержательной, в нее входят "неупотребительныя и весьма обетшальныя" славянские слова, о которых говорит и Ломоносов, и Тредиаковский, и Сумароков. По-новому ставится и вопрос о заимствованиях. Если раньше отталкивание от церковнославянской языковой стихии побуждало хотя бы к ограниченному употреблению заимствований, то теперь обращение к "книгам церковным" как источнику чистого языка делает заимствования нетерпимым излишеством, а борьбу с ними - постоянной чертой языковой практики большинства авторов (Ломоносов прямо связывает усвоение литературному языку церковнославянской языковой стихии с избавлением от новоевропейских заимствований). Происходят изменения и в трактовке вульгаризмов, диалектизмов и неологизмов. Именно в этот период возникает категория "подъяческих" выражений;

она появляется как реплика рубрики французского классицистического пуризма и искусственно заполняется не реальными элементами приказного языка, а элементами, которые ему фиктивно приписываются (например, союз *поже*). Точно так же как в 1730-е годы усвоение французских теорий побуждало к осмыслению языковых вариаций в плане оппозиции русского и церковнославянского, во второй половине XVIII в. усвоение этих теорий стимулирует осмысление вариаций в терминах иных оппозиций, в частности, "чистого" и "подьяческого".

По-новому оцениваются общие характеристики литературного русского языка. Если в 1730-е годы он мог считаться "бедным" и требующим обогащения, то теперь он регулярно рассматривается как "изобильный"; источником изобилия служит церковнославянская литературная традиция. Это изобилие оказывается отличительной чертой русского на фоне новых европейских языков и сближает его с классическими языками. Рассматривая церковнославянский в качестве компонента "славенороссийского", Тредиаковский и Ломоносов вводят русский литературный язык в число древних и приписывают ему приличествующее "древним" языкам изобилие. Это обосновывается, в частности, исторической схемой, согласно которой словесное изобилие переходит от греческого к церковнославянскому, а от церковнославянского к русскому литературному языку. В последней трети XVIII в. данная схема прочно входит в русскую филологическую мысль. Согласно взгляду того времени, преимущество "древних" языков перед "новыми" возникало благодаря тому, что у "древних" была устойчивая литературная традиция, в которой литературный язык, не теряя своего изобилия, приобретал расчлененность и обработанность. В соответствии с таким ходом мысли преимущество русского языка перед другими европейскими языками состоит в существовании особого, имеющего древние традиции книжного языка, противопоставленного языку разговорному. Классицистическая установка на единство литературного и разговорного языка молчаливо игнорируется, и книжная традиция оказывается источником чистоты, богатства и стабильности. Это приводит к снятию всех ограничений на использование ресурсов (лексических и грамматических) "книг церковных" и к усиленному использованию таких элементов, которые присущи "древним" языкам (например, сложных слов).

Вместе с тем объединение русского и церковнославянского в рамках русского литературного языка ставило проблему гетерогенности (макаронизма): сочетание разнородных элементов было для классицистического пуризма стилистически неприемлемым. Для

решения этой проблемы русские авторы использовали хорошо известную риторическую схему трех стилей, соотносившую семантико-стилистические характеристики слов с их жанровым употреблением. Инновацией была попытка связать эту схему, предназначенную для "чистой" лексики, с генетическими параметрами; в результате гетерогенность переставала быть признаком "нечистоты" языка. При этом в Ломоносовской классификации лексики впервые четко говорится об общем для церковнославянского и русского лексическом фонде, и это позволяет Ломоносову отметить проблему сплошного противопоставления церковнославянского и русского словарей, заводившую в тупик предшествующие опыты лексического нормирования. Классификация лексики соотносится с жанровой иерархией, и в результате проблема макаронизма оказывается решенной для высокого и низкого стилей. Средний же стиль, в котором допускаются и "славенские" и "русские" слова, нуждается в особых ограничениях.

Построение Ломоносова оставляет некоторую двойственность в понимании славянизмов. С одной стороны, они получают статус чистых слов и поэтому в плане языковой "чистоты" они ограничениям не подлежат. С другой стороны, славянизмы обладают у Ломоносова определенной стилистической характеристикой и подпадают поэтому под ограничения стилистического порядка. Намечается два различных понимания славянизмов: как элементов стилистически нейтральных (для высоких и средних жанров) и как элементов специально "высоких". Эта двойственность обусловлена тем, что генетические параметры искусственно связываются со стилистическими: славянизм как стилистическая категория является одновременно и продолжением маркированных книжных элементов, и результатом нового генетического переосмысления стилистически нейтральных элементов, которым приписывается "славенское" происхождение. Оба эти понимания получают развитие в позднейших лингвистических теориях.

В грамматике проблема макаронизма имела периферийный характер, поскольку в рамках академической грамматической традиции был достигнут определенный консенсус относительно большинства вариативных элементов. Для небольшой группы вариантов эта проблема все же встает, и способы ее решения позволяют лучше понять весь замысел Ломоносова. В грамматическом описании выделяется не три класса элементов, как в лексике, а два: русский и славенский или низкий и высокий. Этого двойного членения достаточно для выявления гетерогенных сочетаний и формулировки рекомендаций, как их избегать. Данное построение ясно показывает, что предназначенное для лексики

тройное членение вполне искусственно и не столько решает задачи устранения макаронизма, сколько служит оформлению проблемы макаронизма в традиционных для классицистической стилистики категориях.

Объединение русского и церковнославянского в рамках нового литературного языка требовало и пересмотра фундаментальных понятий лингвистической теории, прежде всего понятия употребления. Русские авторы опирались при этом не на построения самого К.Вожела, а на вожелизм, модифицированный картезианством. Если у Вожела хорошее употребление принадлежало двору, а дурное - черни, то в рационалистическом пуризме хорошее употребление - это употребление ученых, знающих грамматику, дурное же - употребление невежд. Поэтому очищение языка связывается с правилами, грамматической традицией, рациональным началом в языке. На русской почве эти теории претерпевали метаморфозу и превращались в славянизирующий пуризм. При славянизирующем пуризме из трех источников чистоты языка - разговорного употребления, литературной традиции и грамматических правил - актуальны лишь два последних. Именно об этих источниках говорит Ломоносов в "Риторике" 1748 г. Отношение употребления к грамматике четко отражается в формулировке из предисловия к "Российской грамматике": "И хотя она [грамматика] от общего употребления языка происходит; однако правилами показывает путь самому употреблению". Понятно, что зависимость грамматики от употребления носит неопределенный характер, тогда как подчинение употребления грамматике мыслится вполне конкретно: грамматика составляется и функционирует как нормативная, т.е. предписывающая употреблению "разумный" порядок.

Аналогичный ход мысли прослеживается и у Тредиаковского. Он говорит, что в любых своих изменениях употребление согласуется с природой языка и что установить правильное употребление могут лишь те, кто знает эту природу. В силу единства природы русского и церковнославянского правильное употребление "славенороссийского" языка должно поэтому основываться на церковнославянском и требует знания этого языка. Соответственно, источником правильного употребления оказывается не живая речь (социальной ли элиты, двора, ученых людей или еще какой-либо группы), а письменность. Это опять же укладывается в рамки европейских теорий, дававших приоритет образцовым авторам перед разговорным употреблением любого рода. Однако на место образцовых авторов становятся церковные книги, по которым, с точки зрения Тредиаковского, и следует учиться правильному языку. В результате этого

приспособления европейских теорий к русской языковой ситуации радикально меняется восприятие церковнославянского языка и литературной традиции. Если раньше церковнославянский осмыслялся как особый церковный язык, не имеющий прямого отношения к новому литературному языку, соотнесенному со светской культурой, то теперь он выступает как источник нормы русского литературного языка и тем самым, оставаясь в принципе языком церковным, оказывается в то же время необходимым компонентом новой русской культуры. Значение церковнославянской литературно-языковой традиции оказывается полностью восстановленным, и это не может не повести к ряду культурологических последствий.

Петровская языковая реформа и весь начальный этап формирования русского литературного языка были обусловлены секулярной установкой новой культуры. Результатом было восприятие церковнославянского как языка церковного и построение нового литературного языка как языка специфически светской культуры. В конце 1740-х годов происходит изменение концепции литературного языка и гражданский язык оказывается основанным на языке церковном. Это развитие естественно связать с тем, что борьба клерикального и антиклерикального направлений завершилась. Культурный синтез абсолютизма предполагает единую государственную культуру, в которой и светская и духовная сферы одинаково подчинены всеобъемлющему единовластию просвещенного монарха. Культура делается монополией государства и требует унификации как часть слаженного государственного механизма. Стремясь сравняться с дворянством, духовенство должно было усвоить хотя бы внешние знаки дворянской культуры. К таким знакам, в частности, относился и новый литературный язык, выработанный элитарной дворянской образованностью. Так складывались предпосылки изменения языка духовной литературы. Эволюция этого языка, до сих пор практически не описанная, имеет принципиальное значение для истории русского литературного языка и является существенным ее компонентом.

В первой половине XVIII в. язык духовной литературы остается противопоставлен языку светской литературы, однако его консервативность является лишь относительной. Он изменяется, и эти изменения начинаются уже в Петровскую эпоху. Они связаны с постепенным переходом духовной литературы (вернее, такой важнейшей для XVIII в. ее части, как проповедь) со стандартного церковнославянского на гибридный. Так, в языке крупнейшего духовного писателя, Феофана Прокоповича, появляются характерные для

гибридного языка вариации в словоизменении существительных и прилагательных, вариации лексико-морфонологических коррелятов, исчезают формы дв. числа, сокращается употребление аориста и имперфекта, появляются несогласованные причастия (деепричастия), упрощается синтаксис и т.д.; язык тем не менее остается церковнославянским. Осуществленное Феофаном Прокоповичем введение гибридного языка в духовную литературу создало традицию, которой следуют позднейшие духовные ораторы. У этой традиции были, видимо, как культурно-языковые, так и литературные основания. К числу первых относится самый статус гибридного языка. С одной стороны, это особый церковный язык, противопоставленный языку светской литературы (этот последний в данный период еще воспринимается как специфически секулярный); с другой – это наиболее подходящий кандидат на роль доступного языка, сохраняющего связь с литературной традицией. Чтобы изменить эту ситуацию, нужны были новые языковые и культурно-исторические импульсы.

Такие импульсы появляются в 1750-е годы, когда борьба с клерикализмом перестает быть актуальной, господствующая европеизированная культура утверждает свое монопольное право на просвещение, а русский литературный язык преобразуется в "славенороссийский", стоящий в ближайшем родстве с "языком церковным". Переход в проповеди на русский язык впервые осуществляется Гедеоном Криновским, придворным проповедником Елизаветы. Язык проповедей Гедеона подробно проанализирован Л.Челлбергом. В собственном тексте у Гедеона практически отсутствуют формы аориста и имперфекта, отсутствуют и формы перфекта со связкой, кроме отдельных форм 2 л. ед.ч., употребляемых при молитвенном обращении. Действительные причастия типа *грядый, растлывся* употребляются редко, как правило, только в парафразах библейских выражений. Итак, отсутствует вся система маркированных церковнославянских элементов, что и позволяет считать проповеди Гедеона русскими по языку. Первое издание проповедей Гедеона выходит в академической типографии в 1755–1759 гг., второе – в Московской синодальной типографии в 1760 г. При переиздании проведена нормализация варьирующихся форм, причем ее направление задано нормами светского литературного языка. Таким образом, язык проповеди сливается в значительной степени с языком светской литературы, и это приводит к формированию единого для светской и духовной словесности литературного языка.

В последующие годы данный процесс получает дальнейшее

развитие. Два виднейших иерарха екатерининской эпохи, Гавриил Петров и Платон Левшин, выдвинулись благодаря поддержке Гедеона и продолжали его линию. Их проповеди, написанные по-русски, задавали тон всей гомилетической литературе. Они служили образцом, и в 1775 г. этот образец был закреплен как практически обязательный изданием "Собрания разных поучений на все воскресные и праздничные дни". Переход с церковнославянского на русский не ограничивается проповедью, но распространяется и на другие жанры духовной литературы. В 1765 г. выходит "Православное учение" Платона Левшина. Это краткое изложение догматического богословия написано на русском языке, по своим частным характеристикам очень близком языку проповедей Гедеона Криновского. В 1766 г. издается сделанный Платоном перевод бесед Иоанна Златоуста на Книгу Бытия. Широкое использование лексических славянизмов сочетается в нем с отсутствием маркированных церковнославянских грамматических элементов. Данное издание также могло выступать в качестве образца (например, для перевода слов Василия Великого, сделанного в 1770 г.). "Славно-русский" литературный язык постепенно вытесняет церковнославянский из всех областей духовной литературы, так что область употребления церковнославянского сводится в пределе к одному богослужению. Это делает актуальным и вопрос о переводе на русский язык Св.Писания (как четвѣй книги). В 1794 г. выходит русский перевод Послания к римлянам апостола Павла, сделанный Мефодием Смирновым, а с учреждением в 1812 г. Российского библейского общества работа над переводом Св.Писания приобретает систематический характер. Западный образец единого полифункционального литературного языка торжествует над той дихотомией гражданского и церковного наречия, которая возникает в результате петровской культурно-языковой политики.

Синтез церковнославянского и русского языков в "славно-русском" и распространение этого единого языка на всю словесность отражает новый взгляд на литературу. Противопоставление духовного и светского и здесь - как и в языке - утрачивает свою актуальность. Литература воспринимается как единое целое, образующее систему жанров, в которой проповеди и богословские рассуждения занимают свое место наряду с одами, элегиями и комическими операми. Церковная литературная традиция выступает в качестве образца вместе с традицией светской, что отражается, например, на составе источников Словаря Академии Российской, на перечнях образцовых произведений в руководствах по риторике, в

которых соседствуют Тедоси Криновский и Ломоносов, Св.Писание и русские переводы Прево. Единство словесности предполагает и единство стилистических критериев: во второй половине XVIII в. светские писатели (например, Сумароков) могут рассуждать о стилистике духовной литературы, прилагая к ней те же мерки, что и к литературе светской; равным образом, духовные писатели дают рецепты для всей словесности, опираясь на теории, выработанные в языковой полемике середины века. Двудеинство составившейся таким образом словесности подчеркивает двудеинство литературного языка. Тезис о соединении в нем церковнославянского и русского становится общим местом и провозглашается как исходное положение. Соответственно двойится и понятие языковой чистоты. Выразительный пример такого раздвоения находим у Амвросия Серебрянникова, который в своей "Российской оратории" (1778 г.), с одной стороны, признает реальность церковнославянско-русского двуязычия, а с другой – на элементы обоих языков распространяет вожелайстские критерии "чистоты". В этих условиях славянизмы не связываются специально с "возвышенным" или "риторически украшенным", а выступают как нейтральные средства выражения, которые могут употребляться в любых жанрах, кроме тех, где они сталкиваются со специфическими русизмами. В результате старая книжная традиция может свободно влиять на новую словесность, и это обуславливает преимущество "славянского" компонента перед "российским" в едином "славяно-российском" языке. В соответствии с этим развитием изменяется и концепция литературного языка: пуристическая доктрина французского классицизма превращается в тот славянизирующий и рационалистический пуризм, который получил свое основание в трудах Тредиаковского и Ломоносова и стал затем общим местом русской лингвистической мысли.

5. Культурный синтез второй половины XVIII в. был недолговечен. Его распад имел многочисленные последствия, которым и посвящена четвертая глава диссертации. Духовная традиция вновь обретает независимость и стремится к размежеванию с культурой светской. Радикальные изменения переживает государственная культурная политика; она приобретает охранительный характер и навязывает духовенству роль блюстителя официальной идеологии. Изменяется и характер литературного процесса. Государственная тема перестает быть центральной, и это приводит к развитию малых жанров, к смещению приоритетов в жанровой системе словесности.

Такое литературное развитие определяет новые задачи поэтики и стилистики. Эти процессы ведут к дальнейшему культурному размежеванию общества, к формированию противопоставленных друг другу культурных традиций. Культурное разноязычие обуславливает целую череду конфликтов и контrovers, приводящих к постоянной семиотизации и идеологизации языкового и культурного поведения.

Распад культурного синтеза подрывает позиции "славено-русского" литературного языка. Реакция на этот язык наиболее ясно выразилась в лингвостилистической программе Карамзина и его последователей. Сочетание в одном языке русского и церковнославянского начал объявляется принципиально невозможным, польза книг церковных несуществующей, и отсюда славенороссийский язык оказывается фикцией, которая была выдумана не справлявшимися с языком авторами для прикрытия своих погрешностей. Карамзинисты отвергают тезис о единстве природы русского и церковнославянского. Положению о единстве природ полемически противопоставляется положение об их разности. В результате славянизмы предстают как заимствования, подлежащие устранению из "чистого" языка. Разрушая славянорусский синтез, карамзинисты ниспровергают и концепцию особого богатства славенороссийского языка (Карамзин специально говорит об этом в заметке "О богатстве языка" 1795 г.). В силу этого французский образец получает у карамзинистов новую значимость. Они заново обращаются к французскому пуризму, отвергая ту специфическую рецепцию, которую получила классицистическая доктрина в России в середине XVIII в. и стремясь усвоить лингвостилистические теории Вожеля в их оригинальном виде: употребление и вкус выступают как главные критерии чистоты языка безотносительно к "разуму", грамматическим правилам или, тем более, церковным книгам. Ориентация на разговорное употребление приводит карамзинистов к противопоставлению русского и церковнославянского. Поскольку это противопоставление задано, детерминировано и интерпретация пуристических рубрик - в общих чертах та же самая, которой следовали первые кодификаторы русского языка.

Это возвращение не было, однако, полным повторением, поскольку самая литературно-языковая ситуация, в которой развертывалась деятельность карамзинистов, существенно отличалась от ситуации 1730-х годов. Теперь реформатор языка имел за собой длительное литературное развитие, в ходе которого сложился обширный круг собственно литературных текстов. Реформатор мог

отвергать стилистические или эстетические принципы этих текстов, но вне зависимости от его отношения они создавали многократный прецедент литературного употребления целого ряда слов, конструкций и выражений, которые больше не ассоциировались ни с традициями церковной литературы, ни с простонародным "грубым" употреблением. Задача очищения литературного языка от славянизмов была существенно модифицирована. Основой этой модификации была литературная традиция, то употребление генетически церковно-славянских элементов, которое сложилось в ней от Ломоносова до Фонвизина и Державина. Эта традиция определяла языковое сознание и была общей для архаистов и новаторов. Различались оценки и принципы употребления славянизмов разного типа, но сами типы были определены более или менее одинаково. Спор шел о допустимости и нужности безусловно книжных элементов, специфичных для высоких жанров, и о стилистических ограничениях в употреблении коррелирующих славянизмов и русизмов. Эти споры оставляли в стороне большой корпус элементов, воспринимавшихся как нейтральные вне зависимости от их генетической характеристики. Проблемы языковой нормы постепенно уступали место проблемам литературной стилистики, т.е. решался не выбор пути, а выбор средств, и это подготовляло почву для пушкинского синтеза.

В трудах Шишкова и его единомышленников "славенороссийская" концепция получает новое прочтение. Отношение Шишкова к церковно-славянскому языку внешне не отличается от отношения к нему Тредиаковского или Ломоносова. Однако для последних приятие церковнославянского языкового наследия было связано с поисками нормативного принципа в регламентации литературного языка. Перед Шишковым подобной проблемы не стояло. Для него значима лексика и фразеология, тогда как элементы славянской грамматической системы он не отстаивает, не интересуясь практически вопросами грамматической регламентации. Для Шишкова маркированные лексические славянизмы драгоценны, поскольку они связывают литературный язык со славянской древностью и знаменуют его верность национальному духу. Проблема церковнославянского языкового наследия связывалась у Шишкова с проблемой народности, и с этой точки зрения "славенороссийский" язык был для него вполне приемлем, а карамзинский "новый слог" представлялся разрывом с историей. При этом и Карамзин, и Шишков в своих лингвистических взглядах следовали французской пуристической доктрине. Такие понятия, как чистота, ясность, неестественность, надутость теоретически понимаются ими одинаково,

они лишь наполняются разным конкретным языковым содержанием. Главный момент, разделяющий противоборствующие направления, — это отношение к церковнославянскому языку. Отрицание славянизмов обуславливает у карамзинистов свободное усвоение литературному языку элементов разговорного языка; у Шишкова, напротив, признание славянизмов делает их преимущественным элементом литературного языка и оттесняет разговорные формы в рубрику просторечия (вульгаризмов). Лингвистическая теория, однако, перестает быть непосредственно связанной с культурной позицией.

Более важной, нежели культурная ориентация, оказывается ориентация на разные жанры, т.е. проблема внутрилiterатурная. Карамзинисты культивируют прежде всего малые жанры. Для Шишкова и его единомышленников высокие жанры сохраняют свое значение. Значимость церковнославянской языковой традиции и обусловлена в большой степени использованием ее элементов для создания "важности слога". Показательно, однако, что в такой функции (хотя и не в таком объеме) церковнославянские элементы приемлемы и для карамзинистов. Таким образом, вопрос о значимости жанров стоит впереди вопроса о языковой (и культурной) традиции, и это еще раз указывает на то, что конфликт имел прежде всего литературный (а не общекультурный) характер. Само сужение проблематики конфликта от общекультурной до внутрилiterатурной свидетельствует о том, что антагонизм культур, сотрясавший Россию в петровское и послепетровское время, отходит на второй план. Это обстоятельство создает основание для той синтезирующей стабилизации русского литературного языка, которую осуществляет Пушкин. Споры архаистов и новаторов должны были стать эпилогом данного исследования, если бы не одна область литературы, для которой борьба церковной и секулярной традиций сохранила свою значимость. В первой половине XIX в. этой областью осталась духовная литература.

У культурно-языкового синтеза второй половины XVIII в. было два наследника: светская и духовная традиции. Соединенные давлением государственного единства, они вновь расходятся с его разрушением. Каждая из традиций обращается к собственным ценностям и в соответствии с ними пытается переосмыслить предшествующий опыт. На рубеже веков еще предпринимаются попытки усвоить духовной словесности "светский" язык и тем самым привлечь светскую аудиторию (например, М.М.Сперанским). Побеждает, однако, другое направление, исходящее из того, что языку духовной литературы не пристало спешить вслед за языком литературы светской. Духовная словесность

сохраняет для себя тот славенороссийский язык, который звучал как в одах Ломоносова, так и в проповедях Платона. Этот язык осмысливается теперь как особо приличный для духовной литературы, соединяющий в себе "церковность" славянского и понятность русского. Выбатываются принципы особого "духовного" словоупотребления, и эти принципы непосредственно соотносятся с идеологическими категориями, определяя своего рода лингвистическое благочестие.

В соответствии с этим критерии языковой чистоты для духовной и светской литературы оказываются различными, в духовной словесности она связана с церковнославянским началом (с "Церковно-Библейским" языком, как пишет Я.Амфитеатров в своей "Гомилетике" 1846 г.). Пуристические ограничения охватывают обычную совокупность рубрик. Так, тот же Амфитеатров, перечисляя слова, которые вредят "чистоте слога", называет "архаизм", "неологизм", "вульгарность" и "перегринизм", под последним термином понимается "безнужное употребление слов и выражений иностранных". На эти же рубрики указывают и разнообразные высказывания духовных лиц, касающиеся стилистики духовной литературы (в частности, замечания духовных цензоров). В качестве оскорбительных для священного содержания рассматриваются прежде всего заимствования и "простонародные" слова (последний разряд включает и нейтральную лексику, обладающую церковнославянскими эквивалентами). Характер пуристических ограничений противопоставляет духовную словесность светской.

Принципиально различным в этих традициях была и идеологическая интерпретация пуризма. Духовный пуризм осмыслился непосредственно в религиозных терминах, отступления от нормы понимались здесь не только как стилистические погрешности, но и как проявления неблагочестия. Введение в произведение духовной литературы элементов "нечистого" языка выступает как внесение профанных элементов в сакральный контекст, т.е. как своего рода кощунство. В этой перспективе язык светской литературы – это язык профанный, противопоставленный сакральному языку литературы духовной. Поэтому если какой-то элемент (каким бы он ни был по происхождению) воспринимается как специфическая принадлежность светского языка, он в силу этого оказывается для духовного языка нечистым (у Амфитеатрова таким элементам отведена особая рубрика). В частности, славянизмам приписывается атрибут сакральности, а противопоставленные им русизмы определяются как элементы специфически профанные. Поэтому принципиальной оказывается задача размежевания светского и духовного языков. Стремление к минимизации

русизмов и к усвоению славянизмов как органического средства выражения священного содержания выступает как задача разграничения сакрального и профанного, защиты вероисповедной чистоты. Подошная концепция предполагает неконвенциональное восприятие языкового знака, при котором языковые элементы приравниваются к священным символическим предметам церковного обихода.

Религиозное осмысление духовного пуризма с особой наглядностью проявляется в отношении к тем словам, которые были усвоены литературным языком XVIII в. из церковнославянского, но получили здесь новое значение, часто противоположное тому, которое они имели в церковной литературе. На этом материале видно, как идеологическое осмысление лингвистических фактов приводит к изменению языковой практики: делая своим и консервируя в основных чертах литературный язык конца XVIII в., духовенство тем не менее преобразует этот язык в тех моментах, которые противоречат его интерпретации как органического выражения православной культуры. В XVIII в. происходит секуляризация церковнославянской лексики (ср. новые значения у таких слов, как *мечта*, *мечтание*, *мечтательный*, *страсть*, *страстный*, *обаяние*, *обаятельный*, *соблазнительный* и т.д.). В 1810-е годы религиозное значение подобных семантических изменений актуализируется – потенциально всякое специфически секуляризованное употребление может восприниматься как кощунственное и изгоняется из произведений духовной литературы. Таким образом, развитие секуляризованных значений служит еще одним основанием для противопоставления светского и духовного языка.

Следует иметь в виду, однако, что "светский" язык является в то же время "общим" языком, языком культурной элиты, с которым духовенство не может не считаться. Духовенство борется за благочестие в языке и за отмежевание от "испорченного" языка светской литературы. Однако в условиях подчинения церкви государству оно не может научить паству своему языку и поэтому вынуждено учиться языку своей паствы. С середины XIX в. начинается процесс разложения обособленного литературного языка духовенства. Особый литературный язык духовенства живет немногим более полувека. С концом этого языка исчезает последняя область, для которой еще была актуальна та связь между языковыми и культурными параметрами, которая возникла в результате петровской культурной политики. Та связь между церковнославянским и русским, секулярным и духовным, европеизированным и традиционным, которая была образована петровскими реформами и определяла значение языка в

культурных конфликтах XVIII – начала XIX в., перестает восприниматься как живая и отходит в прошлое.

6. Пятая глава посвящена анализу изменений в языковой практике. Рассматриваются морфологические нормы, поскольку они активно обсуждаются кодификаторами русского литературного языка нового типа и, соответственно, их изменение отражает значимые моменты его формирования. В то же время исследование морфологических норм допускает статистический анализ и коррелирует с рассмотрением истории грамматической кодификации, т.е. теоретического осмысления. Поэтому именно в исторической морфологии литературного языка можно наиболее наглядно увидеть общие контуры его истории. В пятой главе рассматривается эволюция тех элементов, которые в предшествующий период функционировали в качестве признаков книжности. При формировании литературного языка нового типа они не исчезали бесследно, но могли подвергаться переосмыслению (в частности, как носители специфической стилистической нагрузки), определять направление нормализации или кодификации своих не книжных коррелятов и взаимодействовать с ними.

Наиболее ярким признаком книжности являлись для языкового сознания XVII–XVIII вв. простые претериты. Поэтому формирование нового литературного языка начинается с устранения именно этих глагольных форм. Новый литературный язык конституируется прежде всего как язык без простых претеритов, и это находит отражение как в языковой практике, так и в опытах его кодификации. Это, однако, не означает, что простые претериты утрачивают всякую значимость. Во-первых, они оказываются тем эталонным элементом, который постоянно учитывается грамматической мыслью XVIII в. при разных опытах противопоставления старого и нового литературного языка. Во-вторых, в языковой практике духовной литературы XVIII в. простые претериты удерживаются до тех пор, пока и она не переходит на новый литературный язык. В-третьих, во второй половине XVIII в. простые претериты могут (хотя и в очень ограниченном объеме) возвращаться в новый литературный язык, получая особую стилистическую функцию. Все эти явления имеют принципиальное значение для становления литературного языка нового типа.

Для истории морфологических явлений в литературном языке XVIII в. существенна их предыстория – характер употребления в предшествующий период и прежде всего в гибридных текстах. Формы простых претеритов являются их неременной принадлежностью.

Характер употребления (регулярный или окказиональный) этих форм может быть различен в зависимости от степени книжности текста. В любом случае, однако, они функционируют прежде всего как признаки книжности (на это указывает, в частности, их аграмматизм). При этом формы аориста и имперфекта обладают неравным весом в конституировании книжной речи. В письменности XVI-XVII вв. в результате переосмысления более древнего употребления имперфект соотносится (семантически и формально) с несов. видом, а аорист - с сов. видом. Маркированность имперфекта проявляется, в частности, в отношениях между формами аориста и имперфекта и л-формами. Влияние живого языка приводит к тому, что формы аориста и имперфекта находятся в свободной вариации с л-формами, причем формы аориста преимущественно с л-формами сов. вида, а формы имперфекта - с л-формами несов. вида. При этом л-формы в существенно большей степени вытесняют имперфект, нежели аорист. Маркированность имперфекта видна и в текстах, где формы простых претеритов употребляются недифференцированно (в частности, без соотношения с видовой корреляцией): аорист выступает как основная форма, тогда как имперфект употребляется лишь окказионально, как вторичный вариант (например, в переводе Фациций 1680 г.).

При окказиональном употреблении простых претеритов отчетливо выступают факторы, мотивирующие их использование как признаков книжности. К этим факторам относится композиционная и тематическая мотивированность. Композиционная мотивированность обуславливает употребление названных форм в рамочных частях текста, прежде всего в его начале. Тематическая мотивированность выражается в употреблении форм аориста и имперфекта в тех фрагментах, которые в рамках данного произведения маркированы по своему содержанию: речь может идти о сакральных предметах, о библейской или античной истории и т.п. (такое употребление часто наблюдается в русских исторических сочинениях конца XVII - начала XVIII вв.).

В правленных текстах Петровской эпохи простые претериты достаточно последовательно заменяются л-формами. Сотни примеров таких исправлений можно обнаружить в "Географии генеральной", отредактированной Софронием Лихудом. Характерно, что, исправляя формы 1 лица, Софроний добавляет личные местоимения. Таким образом, нормируя "простой" язык, Софроний ориентируется на церковнославянский, сохраняя грамматическую информацию, содержащуюся в церковнославянском тексте и - в обычном случае - не выражаемую в тексте не книжном. Имеются окказиональные случаи

сохранения форм аориста (имперфект устранен с большей тщательностью). Они наблюдаются преимущественно в пассажах, в наибольшей степени ассоциирующихся с традиционной письменностью (классическая древность, библейские мотивы). И в большей тщательности устранения имперфекта, и в тематической мотивированности реликтового употребления аориста можно видеть связь "простого" языка Петровской эпохи с особенностями гибридного языка.

Устранение форм аориста и имперфекта из текста, переделываемого с гибридного языка на "простой", находим также в "Истории Петра Великого" Ф. Прокоповича и в "Библиотеке" Аполлодора, переведенной А.К.Барсовым. И здесь характер правки указывает на реликтовую связь с предшествующей традицией. Не менее показательны данные двух редакций "Истории Российской" В.Н.Татищева. Формам аориста и имперфекта первой редакции во второй достаточно регулярно соответствуют л-формы, ср.: "(Андрей) восхоте --> *восхотел* идти в Рим", "И потреби --> *потребил* их бог" и т.д. Таким образом, при переходе от традиционного книжного языка к "простому" формы простых претеритов подвергаются неременному и достаточно последовательному устранению. Эти формы практически отсутствуют и в тех текстах, которые - в рамках петровской языковой политики - изначально создаются на "простом" языке.

Восприятие форм простых претеритов как наиболее ярких признаков книжного языка определяет и их судьбу в новой грамматической традиции. Те авторы, которые в конце XVII - начале XVIII в. стремились описать русский язык, противопоставляя его церковнославянскому, описанному М.Смотрицким, в первую очередь отказывались от форм простых претеритов, фиксируя в прошедшем времени (временах) только л-формы (Лудольф, латинская и русская грамматики Копиевича, Э.Глюк, Сояе). Так же построены и первые грамматики, кодифицировавшие новый литературный язык (Адодуров, Шванвиц, Гренинг). Не представлены эти формы в грамматике Ломоносова и у его многочисленных последователей. И Ломоносов, и Тредиаковский при этом рассматривают несходство церковнославянской и русской парадигм как различие в формальных показателях, а не в категориях. Данное понимание ближайшим образом напоминает традиционное, сформировавшееся на основе гибридного языка, для которого важны лишь книжные флексии, а не различия в грамматической семантике. Оно связано также с той методикой описания русского глагола, которая вырабатывается в 1730-1740-х годах и представляет собой трансформацию церковнославянской грамматической традиции (см. ниже).

Статус простых претеритов как примет старого литературного языка непосредственно сказывался на языковой практике – в текстах на новом литературном языке простые претериты отсутствуют. В текстах, реализовавших петровскую языковую политику, они появлялись лишь в виде реликтов. Показателен единственный случай употребления аориста в книге "О способах творящих водохождение рек свободное" (1713 г.): в вводной фразе "Какъ выше сего речеся", т.е. в обороте, специфически связанном с приемами книжного изложения. С развитием нормализации в 1730-е годы отсутствие простых претеритов становится показателем обработанного языка. Так, простые претериты, даже в виде реликта, не употребляются в "Примечаниях к ведомостям" с самого начала их издания в 1728 г. В этот период радикально меняется языковая практика ряда авторов. Со времени "Езды в остров любви" (1730 г.) простые претериты полностью исчезают у Тредиаковского. Подобная же эволюция характерна для Татищева и Кантемира. Когда с 1750-х годов церковнославянский начинает осмысляться исключительно как язык "церковных книг", отдельные формы простых претеритов не рассматриваются более как индикаторы языка и поэтому могут инкорпорироваться в русский текст как стилистические средства, специфичные для жанра высокой духовной поэзии. Так обстоит дело в языковой практике Сумарокова и его последователей, заинтересованных преимущественно в разнообразии стилистических возможностей, а не в строгом соблюдении нормы (как Тредиаковский и Ломоносов).

Подобное использование простых претеритов коррелирует с их употреблением в духовной литературе того же периода. Эволюция языка духовной литературы в этом плане специфична. В конце XVII – начале XVIII вв. здесь принята стандартная разновидность церковнославянского, в которой простые претериты употребляются регулярно, последовательно и грамматически правильно (Симеон Полоцкий, Стефан Яворский). Младшее поколение авторов Петровской эпохи (например, Г.Бужинский) переходит на гибридный язык: в их текстах *л*-форма встречается в значительной пропорции, а употребление аориста и имперфекта прямо соотносится с видовой корреляцией. Особенно далеко этот процесс заходит у Прокоповича, в поздних проповедях которого употребление простых претеритов приобретает композиционную и тематическую мотивированность. Дальнейшее развитие в том же направлении имеет место у авторов 1740-х годов. Радикальные инновации появляются у Гедеоны Криновского, переходящего на литературный язык нового типа. В собственном тексте Гедеоны

простые претериты вообще отсутствуют, они встречаются либо в цитатах, либо в вводящих цитату словах. Этот узус закрепляется как норма, так что в дальнейшем употребление простых претеритов допустимо лишь в редких случаях, когда требуется особый стилистический эффект. Новый статус данных форм отражается и в характере их окказионального употребления в литературе светской.

Особое значение имели простые претериты для русской грамматической традиции. В церковнославянской грамматике простые претериты соотносятся со способами глагольного действия, и это приводит к контаминации глаголов с разными основами в рамках одной парадигмы. Русская грамматическая традиция усваивает эту систематику: флексии аористов и имперфектов заменяются *-ти*-формами, но различия основ продолжают служить для противопоставления разных прошедших времен. Эту трансформацию можно обнаружить уже у Копиевича и Сойе, она закрепляется затем в академической грамматической традиции (у Шванвица и Гренинга) и оттуда переходит в "Российскую грамматику" Ломоносова, суммирующего в своих десяти глагольных временах разнообразные предшествующие опыты.

Устранение признаков книжности лежало в основе формирования русского литературного языка нового типа, однако конкретная динамика этого процесса зависела как от предыстории каждого отдельного явления, так и от особенностей его переосмысления. В XVII в. вариативность форм инфинитива может осмысляться по-разному: как незначимая для оппозиции языков вариация или как признак книжности. Эта исходная амбивалентность определяет сложную судьбу исследуемых форм в нормализационных процессах и языковой практике XVIII в. В частности, формы инфинитива на *-ти* могут переосмысляться и усваиваться новому литературному языку как равноправные варианты или как варианты, обладающие специальной стилистической функцией. Осмысление форм на *-ти* как признака книжности однозначно подтверждается правленными текстами петровского времени, в которых они могут заменяться формами на *-ть*.

Первые опыты кодификации русского языка отражают исходную амбивалентность в понимании форм инфинитива. Если в церковнославянских грамматиках фиксируется исключительно инфинитив на *-ти*, то в грамматиках русского языка (у Лудольфа, Копиевича, Афанасьева, Шванвица) даются и формы на *-ти*, и формы на *-ть*; пропорция зависит от ориентации на грамматическую традицию или на разговорный узус. Четкая формулировка, противопоставляющая формы инфинитива на *-ть* и на *-ти* как русское и церковнославянское,

впервые появляется в грамматике Сойе. Исключительно формы на *-ть* кодифицируются Адогуровым – в его кратком очерке 1731 г. и при переработке "Немецкой грамматики" Шванвица 1734 г.; формы на *-ти* (безударное) трактуются здесь как поэтические вольности. Данный подход определяет и характер академической нормализации в 1730-х годах, равно как трактовку форм инфинитива у Третьяковского, Кантемира и Татищева. Отказ от поэтических вольностей, обусловленный "славянорусской" установкой, оставляет формы на *-ти* за пределами нормы, поэтому данные формы полностью исключены из "Российской грамматики" Ломоносова, трактующего формы на *-ти* как неблагозвучные, и из всей последующей грамматической традиции, базирующейся на ломоносовской грамматике – вплоть до Академической грамматики 1802 г. Рецепция нормативных предписаний Ломоносова не была, однако, универсальной. Это отражается в "Российской грамматике" А.А.Барсова, который предусматривает употребление формы на *-ти* "в высоком слоге и церковном", что соответствует развитию языковой практики (прежде всего, в духовной литературе).

Языковая практика светской литературы в основном соотносится с нормативной регламентацией, хотя имеются и отступления. В текстах Петровской эпохи инфинитив на *-ти* продолжает употребляться как второстепенный вариант; преимущественно он удерживается в инфинитивах от возвратных глаголов (нормализационное решение, позволяющее устранить омонимию с формами 3 ед. презенса). В текстах, реализующих академическую нормализацию, инфинитив на *-ти* появляется лишь как поэтическая вольность; такое же употребление характерно для Кантемира и Ломоносова. После утверждения славянизирующего пуризма могла сохранять значимость предшествующая нормализация; в этом случае отказ от поэтических вольностей приводил к тому, что форма на *-ть* утверждалась как универсальная для поэзии и прозы; этот путь избирают Ломоносов и Третьяковский (в частности, в переложении Псалтыри). Поскольку новая концепция придавала вариантным формам инфинитива равный статус "чистых" элементов, возможно было и иное решение: и в поэзии, и в прозе допускалось вариативное употребление, манифестировавшее слияние "славянского" и русского языкового материала. Формы на *-ти* получают при этом стилистическую значимость; так обстоит дело в "Иосифе" Битобе в переводе Фонвизина и в "Освобожденном Иерусалиме" в переводе М.Попова, стремившихся к славянизации. Таково же употребление Сумарокова и его последователей, стремившихся к стилистическому разнообразию и использовавших

данную форму как дополнительный вариант. Становление "нового слога" выводит употребление второго типа за рамки нормативного.

В духовной литературе развитие идет иным образом. В Петровскую эпоху здесь последовательно употребляется инфинитив на *-ти* (у С.Яворского и Г.Бужинского), что продолжает практику гомилетической литературы конца XVII в. Употребление инфинитива претерпевает существенные изменения в проповедях Прокоповича, однако лишь с 1720 г., причем постепенно форма на *-ть* превращается у него в доминирующую. Хотя столь радикальная модернизация не становится достоянием всей последующей гомилетической литературы, проповеди Прокоповича закрепляют форму на *-ть* в духовной традиции, так что вариативность инфинитивных форм делается устойчивой чертой гомилетики 1740-х годов. Такое употребление инфинитива переходит и к Гедеону Криновскому, и это указывает, что инфинитив на *-ти* не выступает для него в качестве признака книжности. Языковая практика Гедеона расходится, таким образом, с практикой светской литературы. Результатом могло быть осмысление формы на *-ти* как специфической принадлежности духовной словесности и к сохранению ее в этом качестве (например, в Златоусте в переводе Платона Левшина). Однако при стремлении к единству литературного языка форма на *-ти* полностью выводится из употребления, и языковые нормы оказываются в рассматриваемом аспекте реализующими те предписания, которые шли от Ломоносова и Тредиаковского (так обстоит дело в "Православном учении" Платона Левшина и в "Собрании разных поучений на все воскресные и праздничные дни" 1775 г.). Хотя в конце века в языковой практике ревнителей славенского слова фома на *-ти* вновь находит широкое применение (например, в Словах избранных Златоуста в переводе И. Иванова), такая практика не закрепляется надолго в духовной словесности. С разрушением "славенороссийского" языкового синтеза формы на *-ти* выходят из употребления не только в светской, но и в духовной литературе.

7. Принципиально иным образом эволюционируют параметры, не релевантные для противопоставления книжного и некнижного языка. В шестой главе диссертации в качестве примера такой эволюции рассматривается история *a*-экспансии в формах мн. ч. косвенных падежей существительного, т.е. замены флексий *-омъ*, *-ы*/*-ьми*, *-ѣтъ*/*-еть* на *-амъ*, *-ами*, *-атъ*. На этом материале ясно видны взаимосвязи языковой практики XVII и XVIII вв. и одновременно те инновации, которые вносит в эту преемственность процесс

нормализации. Неоднородность (в отношении α -экспансии в дат., тв. и мест.мн.) текстов XVII в. позволяет увидеть конкретные пути преемственности в формировании русского литературного языка нового типа и тем самым выявить, как переосмысление старого узуса постепенно приводит к формированию новой нормы.

Связь "простого" языка Петровской эпохи с гибридным церковнославянским проявляется прежде всего в том, что наследуемыми оказываются вариативные элементы - в том составе и с теми параметрами, которые характерны для гибридного языка. При этом в истории окончаний существительных во мн.числе значимым оказывается не набор флексий, а то соотношение, которое характеризует пропорции старых и новых флексий в разных падежах. Для определения путей преемственности рассматривались разнородные тексты XVII в.: стандартные и гибридные церковнославянские, приказные и бытовые документы. Поскольку в живом языке процесс α -экспансии в XVII в. практически завершается, особенности разных текстов должны быть объяснены факторами, действующими внутри письменных традиций. Основными значимыми показателями оказались при этом объем α -экспансии, т.е. соотношение старых и новых флексий во всех словоизменительных классах, и соотношение падежей по продвинутости α -экспансии у существительных м.рода o -склонения. Употребление новых флексий разделяется на окказиональное (до 10% всех флексий), ограниченное (до одной трети), широкое (до двух третей) и доминирующее (более двух третей).

Объем α -экспансии может быть соотнесен с ориентированностью на образцы: чем она больше, тем меньше употребляется новых флексий. По этому признаку стандартные церковнославянские тексты (для них характерно окказиональное употребление) более всего отличаются от ненормированных не книжных (бытовых - им свойственно широкое употребление). Вместе с тем данный фактор объясняет и различия в объеме α -экспансии в приказных и гибридных текстах. Наиболее ориентированному на старые образцы Уложению 1649 г. свойствен ограничен объем α -экспансии, тогда как Вести-куранты и "Учение и хитрость ратного строения" ввиду своего нестандартного содержания столь непосредственной преемственности не обнаруживают и в силу этого менее консервативны. Аналогично и с гибридными текстами. Консервативны летописи, ориентированные на образцы предшествующего летописания, более продвинуты в отношении α -экспансии сочинения, менее связанные с образцами: космография, рыцарский роман, повествование о собственной жизни (Житие Аввакума).

Относительная продвинутость α -экспансии в разных падежах у существительных м.рода о-склонения соотносится с выраженностью нормализационной установки. В книжных ненормированных текстах (в частной переписке) во всех случаях находим одно и то же соотношение: наиболее продвинут местн.мн., наименее продвинут дат.мн., а тв.мн. занимает промежуточное положение, т.е. имеет место порядок: $L > I > D$. Этот порядок можно рассматривать как нейтральный. Он осуществляется и в стандартных церковнославянских текстах, менее подчиненных нормализационной установке. Такое соотношение падежей наблюдается и в большинстве гибридных текстов. Общая пропорция новых флексий здесь существенно меньше, но относительная продвинутость падежей оказывается такой же, т.е. $L > I > D$. Так обстоит дело в Сибирских летописях, во второй части Мазуринского летописца, в Летописце 1619-1691 гг., в "Скифской истории" Лызлова и т.д. Параметры гибридных текстов отчетливо противостоят модели, обнаруживающейся в текстах приказной традиции (в "Учении и хитрости ратного строения", у Котошихина и в Вестях-курантах). Нормализующая установка выражается в стремлении избавиться от омонимии тв.мн. и им.-вин.мн. и это обуславливает реализацию модели $I > L > D$, т.е. в наибольшей степени α -экспансия проявляется в тв.мн., затем идет местн.мн., а на последнем месте оказывается дат.мн. Такой порядок наблюдается и в стандартных церковнославянских текстах (у Симеона Полоцкого), в которых нормализационная тенденция проявляется с особой интенсивностью (в форме ориентации на грамматику Смотрицкого).

Распределение новых флексий в гибридных и в книжных ненормированных текстах в основном совпадает - отличие состоит лишь в снижении пропорций. Эта общность показывает, что оппозиция старых и новых флексий в анализируемых формах не входит в число признаков книжности, а является нерелевантной для противопоставления книжного и книжного языка вариацией. Отличие исследуемых вариаций от признаков книжности ясно видно и из сопоставления гибридных текстов. Употребление разных признаков книжности в них находится в определенной корреляции, объем и характер α -экспансии с этой корреляцией никак не соотносится. Так, Летописец 1619-1691 гг. и Мазуринский летописец принадлежат к разным типам гибридных текстов по характеру употребления простых претеритов, с употреблением простых претеритов коррелируют и выбор формы инфинитива. Что же касается α -экспансии, то никаких существенных различий между этими памятниками не наблюдается.

Очевидно, что мы имеем здесь дело с разными механизмами выбора форм, и именно это различие механизмов обуславливает несходство в судьбе соответствующих элементов в истории литературного языка.

Картина существенно меняется в Петровскую эпоху. Если бытовые и деловые тексты сохраняют те же параметры, что и в XVII в., то уже в первых изданиях гражданской печати появляется доминирующее употребление новых флексий, XVII в. неизвестное. Данное употребление обусловлено разрывом с традицией, т.е. отказом от ориентации на образцы, и с нормализаторской установкой, стремящейся ограничить немотивированную вариативность. Последний момент ясно виден из соотношения "больших" (существительные м. и ср. рода о-склонения) и "малых" (существительные м. и ж. рода і-склонения, существительные м. рода С-склонения) классов. Объем старых флексий в "малых" классах в пять-семь раз превышает аналогичный показатель для "больших" классов. Такие параметры, с одной стороны, напоминают гибридные тексты с ограниченным распространением новых флексий (типа "Скифской истории" Лызлова или Мазуринского летописца), а с другой - указывают на искусственную нормализацию. Только подобной нормализацией можно объяснить консервативность "малых" классов, никак не соответствующую параметрам ненормированных письменных текстов, и в этой перспективе той же нормализацией естественно объяснять и доминирующее употребление новых флексий в "больших" классах (у существительных м. и ср. рода о-склонения), также контрастирующее с ненормированным письменным узусом.

Специфика нормализации в печатных изданиях отчетливо видна из сопоставления с "Историей Петра Великого" Ф. Прокоповича. В ней реализуется отталкивание от церковнославянского, но отсутствует нормализация. Употребление новых флексий не является в ней доминирующим (новые флексии составляют лишь 56% от общего объема). Относительная продвинутость α -экспансии по падежам дает ту же картину, что и памятники гибридного языка. Вместе с тем различия в объеме старых флексий в "малых" и "больших" классах отчетливо не выражены. Таким образом, в Петровскую эпоху в рамках формирования "простого" языка развивается два направления, которые условно можно назвать "нормализаторским" и "нейтральным". В обоих в основе построения нового языка лежит отталкивание от церковнославянского, выражающееся в устранении признаков книжности. Для обоих исходной традицией служит гибридный церковнославянский. Это выражается в том, что в большинстве соответствующих текстов у существительных м. рода о-склонения наименьшее количество старых флексий

обнаруживается в местн.мн., что характерно именно для гибридных, а не для приказных текстов (в "Юности честном зерцале" и в "Библиотеке" Аполлодора находим, в частности, соотношение $L > I > D$). Это подтверждает тезис о том, что "простой" язык Петровской эпохи преимущественно связан с гибридным церковнославянским.

"Нормализаторское" направление получает дальнейшее развитие в продукции Академической типографии. Это развитие ясно прослеживается в "Примечаниях к ведомостям" (87% новых флексий в 1728 г., 96% - в 1734 г., существенная диспропорция а-экспансии в "больших" и "малых" классах). Сходную эволюцию можно наблюдать и в публикациях Тредиаковского 1730-х годов, хотя в них и может быть отмечена определенная специфика. Уже в "Езде в остров любви" употребление новых флексий доминирует, причем в прозаическом тексте их пропорция составляет 94%, тогда как в поэтическом - лишь 61%. Поэтический текст сознательно освобождается от нормализационных ограничений, при этом основная масса старых флексий приходится на тв.мн. Таким образом, и в этом случае рубрика поэтических вольностей служит как средство легитимного сохранения традиционной книжной языковой практики в рамках нового литературного языка. В этих рамках развивается и языковая практика Кантемира. Она находит определенный аналог и у Татищева, который продолжает "нейтральное" направление, однако в отличие от предшественников старые флексии употребляет преимущественно в тв.мн.; старые флексии могут осмысляться при этом как правомерный - в рамках письменного языка - способ выражения, что соотносится с их трактовкой как поэтической вольности у раннего Тредиаковского.

После "Езды" Тредиаковский отказывается от употребления старых флексий как поэтической вольности (в "Новом и кратком способе" 1735 г.), и вновь возвращается к нему в свой "славянороссийский" период. Рубрика поэтических вольностей трансформируется при этом в новую категорию: архаические элементы из подспорья в версификации превращаются в показатель высокого стиля. Такое переосмысление на первый план выдвигает формы тв.мн. - как в силу того, что различие старых и новых форм выражено здесь наиболее ярко, так из-за неодинакового числа слогов. Данное употребление характеризует стихотворную Псалтырь Тредиаковского и "Тилемахиду"; в ограниченных размерах оно свойственно и Ломоносову. Подобная практика становится возможной лишь на фоне завершенного процесса нормализации: именно ненормативный статус старых флексий создает возможность их стилистического использования. Такая практика,

однако, не закрепляется в русской поэтической традиции. Она остается побочным продуктом перехода от старых норм к новым, при котором ненормативные формы не отбрасываются сразу и решительно, но наделяются дополнительными функциями в попытке приспособить их к новому языку. Сумароков от подобной практики отказывается, так что старые флексии у него практически не встречаются. Нет их и у более поздних авторов. Таким образом, формирование новой нормы литературного языка завершается, и эта норма приобретает универсальное значение, распространяясь на тексты самого разного характера.

Грамматическая кодификация новых флексий развивается в определенной мере независимо от эволюции языковой практики. Одним из факторов здесь является преемственность русской грамматической традиции по отношению к церковнославянской; она возможна в силу того, что рассматриваемая вариативность не соотносится с противопоставлением языков. Церковнославянская грамматическая традиция закрепляла старые флексии в дат.мн. и местн.мн., допуская лишь отдельные отступления. В тв.мн., однако, флексия *-амь* кодифицировалась как равноправный вариант для большинства парадигм *о*-склонения, а в отдельных случаях даже как вариант единственный; такое решение диктовалось стремлением устранить падежную омонимию. На этом фоне и возникают первые грамматики русского языка. Перед их авторами стояла дилемма: либо следовать установившейся грамматической традиции, либо учитывать языковую практику, в письменной форме достаточно неоднородную. Обе эти возможности были реализованы в описаниях русского языка.

По первому пути идет Лудольф и Копиевич, заимствующие у Смотрицкого классификацию склонений и, вместе с ней, формы со старыми флексиями. Влияние грамматической традиции обуславливает сохранение старых флексий у Союе, а также (в меньшем объеме и только в *і*-склонении) у Шванвица. На этом фоне радикальным новшеством оказывается грамматика Глюка 1704-1705 гг., в рассматриваемом аспекте практически полностью порывающая с предшествующей традицией и кодифицирующая новые флексии для всех типов склонения. Она предвосхищает краткий грамматический очерк В.Е.Адогурова, в полной мере отражающий ту нормализацию, которая проводилась академической типографией. Новые флексии кодифицированы здесь почти во всех словоизменяемых типах; а отдельные отступления (в *і*-склонении) находят соответствие в языковой практике — либо в разговорном языке того времени, либо в изданиях академической типографии. Грамматика Адогурова в значительной

степени определяет последующую грамматическую традицию, однако от прямой линии этого развития отходит особая ветвь, связанная с развитием поэтического языка и легализацией в его рамках элементов предшествующей книжной традиции (Тредиаковский, Кантемир).

Грамматика Гренинга, равно как и "Сокращение грамматики латинской" В.Лебедева написаны в рамках академической традиции, зафиксированной Адодуровым. Дальнейшая унификация затрагивает лишь периферийные случаи, так что старые флексии (только на *-ли*) сохраняются исключительно у существительных старого *i*-склонения – в качестве нормативных у слов *люди*, *дѣти* и в качестве допустимых у существительных ж.рода третьего склонения. "Разговор об орфографии" Тредиаковского позволяет заключить, что старые формы дат.мн. и местн.мн. отвергаются как черты языка "не знающих людей", т.е. не как славянизмы, а как характерные примеры "безразборного" употребления, а старые формы тв.мн. трактуются как "усечение" или "стеснение" новых (что отражает их использование в качестве особого стилистического средства). На устоявшейся академической традиции основана и "Российская грамматика" Ломоносова, закрепившая в отношении интересующих нас окончаний нормализаторский принцип и способствовавшая стабилизации соответствующей нормы в узусе литературного языка. Вся дальнейшая грамматическая традиция повторяет решения Ломоносова, за исключением лишь "Российской грамматики" А.А.Барсова. В дат.мн и местн.мн. он кодифицирует исключительно новые флексии; в тв.мн. даются новые флексии в качестве основного варианта, однако в качестве допустимых дополнительных вариантов приведен весь набор форм, обнаруживающийся в памятниках русской письменности XVIII в., эти формы интерпретируются как "сокращение". Барсов ориентируется в данном случае на языковую практику "славянороссийского" языка как синтеза светской и духовной языковых традиций. С распадом этого синтеза такой подход лишается оснований, и в позднейших грамматиках старые формы не отражаются – не в силу нормативной установки, а в силу несоответствия литературно значимой языковой практике.

Поскольку противопоставление старых и новых флексий не было связано с оппозицией книжного и некнижного языка, формирование нового литературного языка, противопоставленного церковнославянскому и предназначенного для светской словесности, не приводило автоматически к различиям языка духовной и светской литературы по данным признакам (ср. иную ситуацию с простыми претеритами). Расхождения могли возникать здесь в силу того, что произведения

духовной литературы ориентировались на иные образцы, нежели светские тексты, и эти образцы обуславливали особую линию преемственности. В проповедях петровского времени находим почти повсеместно широкое (но не доминирующее) употребление новых флексий, т.е. их пропорция составляет от одной до двух третей. Эти пропорции сами по себе указывают на отрыв от гомилетической литературы XVII в. (ей свойственно окказиональное употребление новых флексий) и в то же время на сходство с другими памятниками гибридного языка этого периода. Однако распределение новых флексий по падежам не находит аналогии в других современных памятниках. У существительных м.рода о-склонения наименее подвержен а-экспансии дат.мн., наиболее продвинут тв.мн., тогда как местн.мн. занимает промежуточное положение. Это то самое распределение, которое отмечалось у Полоцкого, и оно указывает на жанровую преемственность: новые проповедники воспроизводят параметры, присущие аналогичным текстам их предшественников. Это распределение остается устойчивой характеристикой жанра на протяжении более чем полувека, при том что объем новых флексий от десятилетия к десятилетию возрастает (32% у св.Димитрия Ростовского, 40%, у Г.Бужинского, 56% у Ф.Прокоповича, 58% у С.Яворского, 75% у С.Тодорского).

Эволюция данного аспекта языковой практики не связана непосредственно с изменением других параметров, релевантных для установления типа языка (признаков книжности). Постепенность изменений свидетельствует о том, что сознательные инновации здесь не осуществляются. Это становится особенно очевидным при анализе языковой практики Гедеона Криновского. Осуществленный им переход проповеди на русский язык на характере а-экспансии не отражается. Общая пропорция новых флексий составляет 75%, у существительных м.рода о-склонения сохраняется специфичное для духовной литературы соотношение ($I > L > D$). Сохраняются, таким образом, и различия между светской и духовной традициями; их источник лежит в преемственности по отношению к разным корпусам текстов. Действительно, в светских текстах, начиная с Татищева и Кантемира, наибольшая пропорция старых флексий обнаруживается в тв.мн., в духовной же литературе именно тв.мн. оказывается наиболее продвинутым. Очевидно, что в отличие от других характеристик (таких как употребление простых претеритов или форм инфинитива) статистические соотношения в распределении старых и новых флексий по разным падежам не находятся под сознательным контролем авторов, так что преемственность, обусловленная автоматическими навыками письменной речи,

сохраняет свою значимость несмотря на смену языка. Дальнейшее развитие языка духовной литературы, проходившее в контексте синтеза духовной и светской традиции, должно было привести к большому сближению с языком светской литературы. В "Собрании разных поучений" 1775 г. и в "Православном учении" Платона Левшина пропорция новых флексий существенно возрастает. Старые флексии выходят из употребления, и ими пользуются лишь в редких случаях как способом отсылки к стандартным церковным текстам. Таким использованием и ограничивается специфика языка духовной литературы. В остальном же светский и духовный языки оказываются одинаковыми, и в этом нельзя не видеть влияния светского литературного языка на духовный. Их сходство обусловлено в конечном счете тем, что новые навыки литературного письма не складываются больше под воздействием старых текстов (церковнославянской литературной традиции в разных ее ответвлениях), но отражают ориентацию на актуальную литературную продукцию и господствующие в ней языковые нормы. Таким образом, исследование характеристик, не связанных с оппозицией языков, позволяет проследить пути преемственности в эволюции литературного языка.

Содержание диссертации отражено в следующих публикациях:

1. О внутренней и внешней позиции при изучении моделирующих систем. - Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979, с.6-14.
2. Кошунственная поэзия в системе русской культуры конца XVIII - начала XIX века. - Семиотика культуры. Труды по знаковым системам, вып.13. Тарту, 1981, с.56-91.
3. Лингвистическое благочестие в первой половине XIX века. Из истории размножения литературных языков в послепетровскую эпоху. - Wiener Slavistisches Almanach. Bd.13. Wien, 1984, S.363-395.
4. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI-XIII века. - Russian Linguistics, vol.8 (1984), п.3, p.251-293.
5. Язык Феофана Прокоповича и роль гибридных вариантов церковнославянского в истории славянских литературных языков. - Советское славяноведение, 1985, № 3, с.70-85.
6. Рецензия на книгу: Feofan Prokopovič. De arte rhetorica Libri X. Hrsg. von R.Lachmann. Köln - Wien, 1982. - Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т.44 (1985), № 3, с.274-278.
7. Азбучная реформа Петра I как семиотическое преобразование. - Труды по знаковым системам, вып.19. Тарту, 1986, с.54-67 [Ученые записки Тартуского гос. университета, вып.720].
8. Новые материалы для истории перевода "Географии генеральной" Бернарда Варения. - Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т.45 (1986), № 3, с.246-260.
9. Славянские грамматические сочинения как лингвистический

источник. О книге: D.S.Worth. The Origins of Russian Grammar... Columbus, 1983. - Russian Linguistics, vol.10 (1986), p.73-113.

10. Еще раз о правописании *ц* и *ч* в древних новгородских рукописях. - Russian Linguistics, vol.10 (1986), p.291-306.

11. Богатство русского языка в концепции Ломоносова, его современников и последователей. - М.В.Ломоносов и русская культура. Тезисы докладов конференции, посвященной 275-летию со дня рождения М.В.Ломоносова. Тарту, 1986, с.79-82.

12. Проблемы формирования русского извода церковнославянского языка на начальном этапе. - Вопросы языкознания, 1987, № 1, с.46-65.

13. Смена норм в истории русского литературного языка XVIII века. - Russian Linguistics, 12 (1988), p.3-47.

14. Актуальные проблемы истории русской риторической традиции (По поводу издания поэтики Ф.Кветницкого). - Советское славяноведение, 1988, № 2, с.94-99.

15. Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков. - Актуальные проблемы славянского языкознания. М., 1988, с.49-98.

16. Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков. - X Международный конгресс на славистике. Резюме на докладе. София, 1988, с.28.

17. Значение орфографических правил в формировании русского извода церковнославянского языка. - История русского литературного языка старшей поры: основные проблемы и перспективы исследования. Тезисы докладов. М., 1989, с.38-40.

18. Государственный миф в эпоху Просвещения и его разрушение в России конца XVIII века. - Век Просвещения. Россия и Франция. Le siecle des lumieres. Russie. France. Материалы научной конференции "Випперовские чтения - 1987", вып. XX. М., 1989, с.141-165.

19. Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII - начала XIX века. М., Институт русского языка АН СССР, 1990, 272 с.

20. Проблемы формирования русского литературного языка нового типа в Петровскую и послепетровскую эпоху. - Закономерности языковой эволюции. Тезисы докладов. Рига, 1990, с.193-194.

21. Языковая ситуация Петровской эпохи и возникновение русского литературного языка нового типа. - Wiener Slavistisches Almanach. Bd.25/26. Wien, 1990, с.451-469.

22. "Простота" языка и ее реализации: о языке книги "Статир" (1683-1684 гг.). - Сборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXIII (1990). Нови Сад, 1990, с.141-154.

23. Рецензия на книгу: V.K.Trediašovskij Psalter 1753. Erstausgabe. Paderborn - München - Wien - Zürich, 1989. - Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т.50 (1991), № 6, с.551-555.

24. Стихотворные переложения Псалтыри в истории русской литературы и духовности XVIII века. - История и культура. Тезисы. М., 1991, с.84-86.

25. Из истории русской грамматики: итеративы и имперфективы в структуре глагольной парадигмы. - Доломоновский период русского литературного языка. (Материалы конференции на Фагеруде, 20-25 мая 1989 г.). Stockholm, 1992, p.247-270.

ЖИВОВ ВИКТОР МАРКОВИЧ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ЯЗЫКОВАЯ ПРАКТИКА В ИСТОРИИ
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА

/А в т о р е ф е р а т/

Подписано к печати 12.10.92 Формат 60х90 1/16 п.л.2,8
Уч.изд.л.2,6 Тираж 120 Заказ 399 МП "ГАРАНТ"

Ротапринт МАСИ /ВТУЗ-ЗИЛ/, 109280, Москва, Автозаводская, 16

